красная книга русской прозы

Евгений Замятин

Мы

роман, повести, рассказы



Три дня
Евгений Иванович Замятин

Аннотация
Евгений Замятин. Три дня

Аннотация

«…Мы спускаемся спать в каюты. Ночь наивная, тихая, обыкновенная, еще не подозревающая, что в ее темную глубину уже брошена искра, что она вот-вот заполыхает…»

Евгений Замятин
Три дня

Солнце, песок, черномазые арабы, песок, верблюды, пальмы, песок, кактусы. Где-нибудь в другом месте не арабы, а турки, и опять — солнце, верблюды, песок. Повсюду одинаково звонко, ослепительно-ярко. И вечный шелковый шум волн при переезде из порта в порт, — этим шелком закутаны глаза, уши. Под конец совсем падаешь под тяжестью впечатлений, сквозь шелк все уже еле видно, еле слышно. Всякие разговоры начинаются с одного: «А вот, когда мы придем в Одессу…»

И наконец — пришли. Солнце садится, значит — опоздали: таможенный досмотр будет только завтра, а до тех пор на берег нельзя.

— Полюбуйтесь-ка вот, издали. Близок локоток, а не укусишь, — подхихикивает старший механик. Борода у него седая, длинная, как у Моисея-пророка; медленно ее поглаживает.

Шум улиц легко бежит к нам по воде. Золотеет над городом облако пыли. Вспыхнули красным верхушки наших мачт, стекла в иллюминаторах.

Погасли. Темнеет.

Два белых военных судна — резкие, вырезанные в синем полотне сумерек.

— А эти военные — зачем здесь?

— Захотелось господам офицерам одесских девочек посмотреть, ну, вот и пришли… — Это опять механик: он все знает, все и всегда. Берет бинокль, смотрит: — Броненосец и миноноска, севастопольские, — говорит он.

Мы спускаемся спать в каюты. Ночь наивная, тихая, обыкновенная, еще не подозревающая, что в ее темную глубину уже брошена искра, что она вот-вот заполыхает…

Утром — чуть свет поднялась беготня на палубе, гвалт: таможенные пришли. С какими-то крючьями, как черти в аду, копаются. Обыкновенный, пыльный, потный, плетется день. За обедом все торопятся: поскорей бы кончить — и в город. На берегу успел побывать только седобородый механик: везде у него приятельства и знакомства, он исхитрился выбраться с утра, еще до таможенных. Теперь сидел и рассказывал всякие новости, были и небылицы.

— Хе… Торчите вы тут и ничего не знаете! А там дела, там дела! Какие? А такие, что на броненосце на этом всех офицеров повыкидали за борт.

Лейтенантик матроса у них ухлопал, ну и пошло писать… Думаете — вру? Да подите вы к черту!

За столом улыбались: знали, любит старик удивить. Ну, пускай, пускай потешится…

После обеда поймал меня Григорий Васильич, машинист, затащил к себе в каюту, прикрыл дверь. На правой руке не было у него двух пальцев, всегда прятал руку, а сейчас забыл все: говорил, размахивал рукою, мелькали перед глазами култышки.

— Слушьте: *он* на Новом молу лежит. Факт. И народу туда идет — тьма-тьмущая. Такое начинается, что я и не знаю… Слушьте, пойдемте, а?

Григорий Васильич — человек положительный. Значит, и правда — что-нибудь… Весело-тревожно начинает биться сердце.

Мы быстро идем по берегу по-над морем. Солнце на небе ярко празднует, ветер стих, на море взглянуть нельзя — ослепнешь.

Переходим какие-то пути, спотыкаемся, свертываем по серой улице пакгаузов — и вдруг попадаем неожиданно в поток людей, спускающихся сверху из города в порт. Что-то похожее на крестный ход: так много, такие разные. Панамы, босоногие ребятишки, солдаты, перчатки, шелковые зонтики, опорки, воротнички…

Идем. Чей-то голос сзади — неуклюжий и медлительный:

— Воны, чорноморьци, давишь говорыли, что к нам прыйдуть. Вот и прыйшли.

Я обернулся: рябой солдатик поучал своего товарища.

— А офыцеров воны и не побили вовсе, тильки заперли. Я ж знаю. Я…

И нету: пропал в толпе. Мимо — уж новые: студент и девица. Девица прижималась к студенту и, должно быть, вздрагивала.

— «Потемкин», — говорил студент, — самый новый броненосец. Понимаешь, если он на самом деле — так ведь это…

Наш «крестный ход» свернул на Новый мол. Здесь было ближе к какому-то неведомому центру и оттого тише, серьезней.

Около огромной горы деревянных ящиков стояли неподвижные фигуры, как будто сторожили.

— Вы что тут? — спросил Григорий Васильич.

— А вот — около водки. С монополькой ведь ящики-то: не дай Бог — пронюхают! Мы от комитета.

На фонарь взгромоздился юноша в мягкой рубашке и черном пиджаке, глаза у него девичьи, синие. Поднял над толпой руку:

— Товарищи! Этот день…

Его слушали. Голова кружилась от солнца, от людей, понять что-нибудь мешала неотвязная мысль, такая неподходящая: «Но ведь в черном пиджаке ему, должно быть, отчаянно жарко…»

В толпе прорубилась какая-то просека, уличка. По ней двигались вперед, к непонятной цели, проходили обратно. И во всем этом был свой странный порядок.

Пошли по этой живой уличке и мы с Григорием Васильичем. Вместе с медленными рядами двигались к голове мола. Вдруг впереди нас сбросили шапки. Стало совсем тихо и жутко.

— Ох, да вот он, вот он, батюшка… Красавец-то какой лежит, как живенький! — запричитала рядом баба в платке.

На самом конце мола на постланных флагах лежит матрос. Желтое, мертвое, спокойное лицо. Всегда страшные днем огоньки восковых свечей. Около — говорят только шепотом. Два белых матроса, его товарищи, в изголовье. Сбоку, совсем близко, как сидела бы мать, сидит босяк — опухшее, налитое лицо, лоб, перевязанный тряпкой. Босяк качает головой, морщится — может быть, плачет.

Кто он, зачем?

Бросают деньги на тарелку возле покойника, отходят в сторону. Читаем издали приколотый к груди лежащего лист бумаги — под солнцем очень белый. Видны только последние слова: «…за мою смерть».

Вдруг благоговейное молчание разрывается резким окриком:

— Шапку долой, эй, ты!

На господина в котелке кричит один из матросов. И все, кто стоят поближе и слышат, тоже:

— Эй, долой! Оглох, что ли?

Господин в котелке, криво улыбаясь, обнажает голову. Опять тишина. Только баба в платке всхлипывает:

— Красавец-то какой, батюшки, молодец-то… О, господи!

Поливает сверху солнце. Желтые свечи, острый и желтый нос мертвеца, молитвенно, жутко… И должно быть — такая же новая, необыкновенная стала сейчас вся Одесса.

По человеческой просеке, мимо солдат, шелковых зонтиков, мальчишек — мы идем в город. Дерибасовская, Ришельевская… Нет, оказывается — здесь все обычно: нарядные женщины, газетчики, продавщицы цветов, очень тихо и жарко.

— Пить-то, пить-то как хочется. А ведь только

вот сейчас и почуял, — сказал Григорий Васильич.

Сели за столик, пили, спешили кончить.

— Слушьте: идем, а?

— Идем.

Не нужно было говорить — куда: куда же сейчас можно идти, как не туда, опять вниз, в порт?

Еще издали мы увидели: шло волнами темное море голов — и гудело:

— А-а-э-э-э…

Бросали вверх шапки, махали руками. Уж можно теперь разобрать — кричали тысячи голосов:

— Е-э-едут, едут, е-э-э…

Мы ли протолкались, или нас вынесло — но только оказались мы скоро у самой воды, на краю набережной. Теперь ясно было видно: от броненосца, резко белого, шел к берегу, к нам, как чайка — легкий и острый, — катер. Вот уж можно разглядеть и белые голландки матросов, и лица. Пристают.

— Ур-рр-а-а-а-а! — заревело сзади.

Нахлынули, бросились вперед, как бешеные лезли на плечи, куда-то вверх — надрывались: ура-а-а!

Я оглянулся. Высокие железные столбы фонарей были увешаны людьми, — как они взобрались в

секунду? — люди махали белым, в воздухе — туча фуражек, шляп. Матросы на потемкинском катере раскрывали рты — тоже, должно быть, кричали, их не было слышно.

Да, матросы, *те самые*, так близко, внизу. И почему-то отпечатывается навсегда физиономия одного — такая лукавая хохлацкая рожа, со спущенными вниз светлыми льняными усами.

Хохол на катере влез на мостик и замахал рукою: чтобы затихли.

И так же, как он, замахали рукою десятки людей на набережной, вскакивали на тумбы, кричали: «Ти-и-и-ше, тише!» Удивительно: оно сейчас же утихло — это раскачавшееся, напряженное людское море. Утихли, вставали на цыпочки — услышать хоть одно слово. Все знали: то, что теперь услышат, — это будет решительное, страшное.

Матрос на потемкинском катере почесался и сказал:

— Вот бы… это самое… Провьянт нам нужен. Провьянту принесли бы — это вот да…

Так это было неожиданно-житейски, так просто. Засмеялись облегченно:

— Провьянту им неси! Харчей, говорят…

Сразу матросы — это мы все. Что ж, такие же

люди: харчи вот нужны им. Правильно.

Катер слегка покачивало. Матросы придерживались багром за сваю. Из толпы очень быстро, как будто всю провизию носили с собой в карманах, начали подтаскивать к берегу кулечки картофеля, булки, колбасу, какие-то неизвестного содержания свертки. Бросали вниз, матросы ловко ловили.

— Будет, будет, спасибо!

Опять влез на мостик хохол с опущенными усами, сложил руки рупором и закричал:

— Братцы, солдатика бы нам теперь! С солдатом нам поговорить надо. Пехотного нам.

Зашевелились, потеснились, выперли кого-то вперед. Я узнал все того же самого рябого солдатика. Рябой подошел, прислонился пузом к перилам и неповоротливым, медленным своим языком начал переговоры, отнюдь не стесняясь присутствием публики.

— Воны побижалы за епутатом нашим, у казарми. Так я усе равно вам можу сказать…

— Ну, что у вас, братцы, как? — это снизу, с катера.

— Да что ж, розно. Наши-то сгодятся… А вот такие-то — хай им черт — сукины сыни…

Солдат называл какие-то полки, казармы, орал,

чтобы внизу было слышно. И снизу в ответ тоже орали. А кругом слушали. Так это все просто.

Запыхтела машина на катере, матросы замахали бескозырками:

— Прощайте, братцы. Спасибо!

Опять — ура, дикий, восторженный рев, повисшие на фонарях люди, взлетевшие вверх шапки.

Мы с Григорием Васильичем не существовали: нас носило куда-то вправо и влево, выбрасывало к перилам, втягивало опять в самую гущу. Толпа двигалась, переливалась, шла волнами. Почти видимая глазом — над людьми оплотнела тучей напряженная восторженность — и ждала как-то, чем-то пролиться. Опять завиднелись ораторы там и сям. Но этого было теперь уже мало, это было не то, туча все росла, сгущалась.

И вот, где-то слева, всплеснуло новое «ура». Катится, растет, как первая волна в шторм, ее уж догоняет другая, третья. Уже ничего не слышно — только штормовой, восторженный рев, и с этим ревом сплетается прерывистый, набатный, жутко-веселый голос пароходного гудка.

Совсем уже около Нового мола виден огромный черный пароход: его тащит на буксире потемкинская миноноска. Пароход полон людей. На мостике красные флаги, десятки рабочих. Все

машут шапками, приветствуют берег гудками. А берег мечется и бешено, исступленно кричит «ура».

Какие-то сведущие люди объясняют, что «Потемкину» нужен был уголь. «Ну, вот — пришла эта самая потемкинская миноноска, взяла на буксир угольщика и потащила: угольщик что ж может против миноноски? Теперь «Потемкин» с углем — теперь наше дело — вира!»

Пароход ушел. Шесть часов. Солнце печет из последних сил. Люди задыхаются, из последних сил ждут — что-то еще должно случиться, должно!

Мы с Григорием Васильичем вернулись на пароход ужинать. Так странно было сидеть в тихой и уютной кают-компании, когда там — на берегу… Да, Бог знает, что там: там может быть теперь самое неожиданное, самое удивительное…

Садилось солнце, красное, дикое, немое. Мы опять подходили к Новому молу. Какие-то крики… Нет, не такие: раньше были — как ливень, как лес. А теперь — отдельные, резкие, режущие, каркающие, вороньи.

Под эстакадой стоял мужичок с грязным ведром — что-то продавал. Не поняли сначала.

— …Хоть для почину купи-ите! За три гривенника все ведро. Ну, за двугривенный! Шампанское,

вить…

— Ну… разбили! — отчаянно сказал Григорий Васильич. Опять забылся, мелькнули перед глазами его култышки.

Где же, где же то, что было здесь утром? Да и было ли? Сейчас не верилось.

Повсюду, согнувшись, шныряют люди с мешками, свертками. Какие-то мышино-юркие, в платках женщины, с одутлыми, картофельными лицами оборванцы. И все это озирается по сторонам, прячется за углы, ныряет, как ящерицы, в темные проходы…

У пакгаузов — нестройный, разорванный гул. Нет-нет, да и грохнет, рухнет что-то, подымается туча пыли. Откуда-то взялись топоры, ломы. Рубят столбы, летит крыша, а те, которые около, — даже не посторонятся: с гиком бросаются в склады, роются, вытаскивают, отнимают. Кого-то убило крышей. Убило — ну что ж…

Целая куча деревянных ящиков. Тут были утром люди «от комитета». Толпа снесла их.

На самом верху этой горы ящиков — стоит какой-то босой, в одной жилетке — прямо на тело. В каждой руке по бутылке; пьет их и бросает. Покачнулся, ящики с грохотом и звоном валятся вниз.

Через минуту поднимается из обломков и осколков тот, кто был наверху. Из обеих рук, порезанных склянками, — льется кровь, но он нагибается, вытаскивает новую бутылку, отбивает горлышко, запрокидывает, пьет. Из обеих рук льется кровь…

Бочки с вином. Днища отбиты. Черпают картузами, горстями, жестянками, ведрами. Уносят, пьют, опрокидывают на землю. По мостовой мола текут ручьи вина — как будто прошел хороший ливень; через ручей переброшены доски…

Всё не могут ни выпить, ни с собой взять: так пропадай ты пропадом, только бы «им» не осталось. В море!

Возле мола плавают зеркала, велосипеды в деревянных клетках, ящики, бочки, коробки. Выливают в море бочки спирта, керосина: «Эх, гуляй, все равно — один раз». Поют где-то песню — она кажется разбойничьей, ушкуйничьей, старой.

Узкой уличкой мы поднимались в город. На уличке было как будто очень спокойно, и только всюду — глаза: на балконах, в окнах, в чуть приоткрытых калитках. По камням сухо процокал подковами казачий разъезд, скакали куда-то галопом. Окна и калитки торопливо закрывались.

Сверху мы оглянулись еще раз на порт: там

кипело, ухало, рушилось, ликовало. Светил последний красный луч…

Оживленные, нарядные городские тротуары — и вдруг посреди улицы лагерь солдат. Составили ружья в козлы, уселись около, что-то стряпают в котелках: война.

Но там, за столиками на бульваре, — по-прежнему весело и празднично. Изящные дамы, вежливые кавалеры — с лорнетами, биноклями, подзорными трубами. Все нетерпеливо смотрят туда, где «Потемкин», и ждут. Ждут начала — как в театре.

Григорий Васильич пробормотал сквозь зубы ругательство:

— С биноклями? А вот как сейчас…

Он не кончил: оглушительный грохот, удар. Дребезжат и сыплются стекла. Секунда оцепенения. Потом сквозь все молния-мысль: «Потемкин» начал. И людской вихрь.

Люди обезумели. Мчались, опрокидывали столы с посудой, стулья, скамьи, падали. Мужчины прыгали через нарядных, лежащих на земле дам. В одну секунду смели казачьи разъезды у бульвара. Забивались в ворота, прижимались лицом к стенам домов.

Каким-то чудом я разыскал Григория Васильи-

ча. Он тяжело дышал, вытирался, плевал.

— Сбили меня с ног. Через меня бежали. Ну и пуубличка!..

— Неужели — «Потемкин»? — спросил я. — Почему он вдруг…

— Да не «Потемкин» вовсе! Это они бомбу бросили в казаков. Двух в крохи пирожные разнесло, офицеров ранило. Да вон-вон… глядите!

Тревожно трубила и мигала красным фонарем каретка скорой помощи. Остановилась возле аптеки. Что-то вынесли на носилках.

У яркого окна с зелеными и красными бутылями — сгрудилась толпа, с разбуженным, жадным любопытством к крови. Подымались на цыпочки:

— Гля-ко-сь, шея-то, шея-то вся…

— А волосья-то слипились… Ах ты… а?

Стукнул, сломался где-то ружейный залп. Толпа плеснулась к бульвару. Там стеной стояли тяжкие темные крупы лошадей, казаки никого не пускали.

— Разойдись! Разойдись! — уже не кричал, а хрипел растерянный околоточный.

Но никто не уходил. Все пристально ждали чего-то. Какие-то люди молча стояли под воротами, не двигаясь. Собирались на перекрестках в

темные кучи и ждали.

И оно — пришло: встало внизу, заколебалось дымным красным заревом.

— Жажгли, жажгли!

— Карантинная… Полыхает-то, а?

— Карантинная… Хороша Карантинная! Новый мол это.

Невидимые в темноте — говорили радостными, возбужденными голосами. Только этого будто и ждали.

— Слушьте, пойдем на Польский. Может, там нас и пустят вниз, — сказал Григорий Васильич.

На Польском спуске было очень тихо, далеко. На ступенях, в самом низу, сидели солдаты, а выше их, амфитеатром, устроились зрители. В глазах у всех горел красный отблеск; молча смотрели.

Ружейные залпы теперь слышались чаще. Горели пакгаузы и на Новом молу, и в Арбузной гавани, и в Таможенной. Приземистым, плотным пламенем занялись склады каменного угля. Высокой свечкой к небу стояла, вся в огне, деревянная башня яхт-клуба.

В порту медными отчаянными голосами кричали поезда и пароходы. Грохотали, втягивались якоря: это отчаливали счастливцы, не

потушившие котлов. Суда, пришвартованные к набережной, уже начали загораться: сначала шлюпки, потом палубы, потом мачты. Смотришь — уже скрючивается, извивается на огне красное каленое железо.

Освещенный сзади красным светом солдат с ружьем поднимался по ступенькам. Запыхался, остановился перед кем-то.

— Ну, что? — слышен голос. Должно быть, офицер.

— Страсть, ваш-бродие! Там они зажгли с сахаром который склад. Сахар-то жидка-ай стал, потек. А он-то, пьяный вдрызг, ваш-бродие, на крыше стоял, да как оттедова сверзится — в сахар-то прямо. Благим матом орет. Полезли за ним — тоже пьяные, и тоже в сахар попали, ну и страсть! Ды стреляють, ды стреляють…

Привороженные к огню, молча смотревшие люди вдруг проснулись, зашевелились, стали вставать, уходить. Останавливались, прислушивались, где залпы, чтобы не идти в ту сторону.

— А ведь и нам бы пора домой, на пароход, — сказал я Григорию Васильичу. — А то позже не пройдем.

— Да и теперь не пройдем, — равнодушно ответил он. — Ну, все равно — попытаем.

Солдаты нас пропустили. Мы сошли вниз — и сразу окунулись в сплошную чернять. Фонари не горели, светило только зарево, распухая и опадая на стенах.

Темные, незнакомые улицы, повороты. Пустые, покинутые дома. Издали — гул и треск. На тротуарах — темные, недвижимые мешки: пьяные — или мертвые?

Мы подошли к путям. Сломя голову мчались товарные поезда: спасали, что можно. На каком-то перекрестке остановилась карета скорой помощи: подбирали человека с отрезанными поездом ногами, он бормотал что-то веселым, пьяным, заплетающимся языком.

Возле Нового мола было совсем светло. Пылало все: даже самая набережная — деревянная, осмоленная. Даже море, куда вылиты были сотни бочек керосина и спирта — пылало у берега синим огнем.

Пьяные огнем и вином, обезумевшие люди надрывались — перекричать рев пламени. Красные отблески прыгали на них — или это они плясали вокруг огня дикий танец, они, которым показалось, что сегодня им можно.

Жизнь здесь стоила грош. Идти тут было жутко; мы поднялись наверх, на эстакаду.

Отсюда, как на ладони, виден был — весь в пламени — порт. И море: спокойное, равнодушное зеркало, покрытое призрачным, колеблющимся отраженным огнем.

Подходили уже к концу эстакады — как вдруг тот конец ее, где нас ждал спасительный спуск к пароходу, загорелся. Никогда я не видал Григория Васильича таким бледным, как сейчас.

Возвращаться было немыслимо. Здесь где-то есть трап, чтобы спуститься вниз, — должен быть! Но где?

Метались. Может быть, двадцать раз пробежали мимо трапа. Огонь все ближе. Я споткнулся о крышку, упал: под руками был трап.

Спустились вниз. Совсем близко, следом за нами — жгли, ухали, кричали. Но мы были уже в гавани, где стоял наш пароход — сейчас мы будем на пароходе, сейчас мы его увидим: вот только обогнуть этот пакгауз…

За пакгаузом парохода — не было: он оттянулся от берега и стал на якорь в полуверсте.

Мы охрипли от крика. В вылитой наземь нефти намочили носовые платки и зажгли их. Чудом каким-то увидели нас, спустили шлюпку. Мы на пароходе.

Все полыхало кругом. Говорить… говорить

нельзя было: только слушать, слушать, слушать…

Залпов теперь нет: теперь — сплошной, неперестающий треск выстрелов. И должно быть у всех — как эхо — эта внутренняя дрожь. Нет, не от ружейной стрельбы, а от пулеметов: от этого сухого, бездушного, страшного своею машинностью гороха. С полуночи — пулеметы не переставали.

Где-то далеко стоял броненосец и синевато-белыми ножами прожектора резал берег, воду, суда.

Все молчали, слушали. На берегу вплетались в выстрелы длинные стоны — вот уж близко совсем. Матрос влез на мачту, говорил сверху:

— Все отсюда виднехонько, все до капли. Во-во-во, солдаты на них идут, штыками их… Бра-атцы мои!

Неохотное, разрозненное «ура». Как сломанные, сухие хворостинки — выстрелы револьверов, потом сверху, с берега — винтовочный залп…

Пули жалобно пели высоко, в мачтах. Потом одна, другая шлепнулась в шлюпку на той палубе, где мы сидели. Нужно было отсюда уходить вниз.

Динамо у нас не работала. В кают-компании тускло качались масляные лампы. Сидели все

молча, без конца слушали. Только часам к четырем, к рассвету, стали затихать выстрелы, и мы разошлись по каютам.

Утро. В жемчугах облачное небо. Весь порт курится, белеет дымком. Все какое-то хмельное, плывущее, ненастоящее.

От берега отчаливает шлюпка и правит на нас. Кто? Да он, конечно, — он, наш седобородый старый механик.

Взобрался по трапу, поглаживает длинную, как у Моисея-пророка, бороду:

— Еле-еле пробрался к вам. Ник-кого не пропускают — меня уж так только, по знакомству…

Капитан наш, толстый братушка, Лука Петрович — побагровел, начал кипятиться:

— Та если менэ на берег нужно? Чэрт бы их взял…

Механик ехидно смеется:

— Что ж делать! Меня пустили — а вас вот не пустят. Военное положение, голубчик, военное. Да вы в бинокль поглядите-ка, поглядите на берег.

Смотрим по очереди в бинокль. Солдаты по всему берегу, куда ни взглянешь.

Механик доволен: ну то-то же.

— А ну-ка теперь вот сюда. Вагоны, платформы эти видите? — вон-вон!

Ну, видим. Ну, что ж такое? Везут что-то, прикрытое рогожами.

— Хм, что-то… А знаете — что?

Он шепчет нам на ухо. И бинокль почему-то дрожит в руках, и кажется, что из-под рогожи видны руки, ноги…

А механик кому-то сзади:

— А их ведь теперь уж три стало.

— Кого — их?

— Да судов-то, которые с «Потемкиным». Ночью «Веха» пришла. Ну, и там то же самое: офицеров своих тоже перевязали, свезли на «Потемкина» и рядом с ним якорь бросили.

Смотрим — и верно: три их, в кильватере стоят. Так, значит, еще не все кончено — еще может быть…

Пыхтит казенный портовый пароходик, пристает к нам. На нашу палубу влезает быстроглазый маленький капитан:

— Ради Бога. Лука Петрович — уходите скорей. Всем судам выбираться из порта велено — скорее как можно!

— А что?

— А то…

Быстроглазый капитан говорит шепотом — но так, что всем слышно:

— Эскадра сюда идет. Приказано «Потемкина» либо живьем взять, либо ко дну пустить. Под великим секретом вам говорю!

Лука Петрович выругался по-своему, по-братушкинскому:

— Всю команду — на палубу! Ч-чэрт бы их…

Матросов половины не было, пропали куда-то. Лука Петрович пыхтел, как насос:

— Вот… Да… Уходить нам вэлено есть из порта. Разумеетэ?

Матросы переминались, переглядывались. Потом вышел один — бойкий, с серьгой в ухе:

— Никак нам нельзя, Лука Петрович. Комитет приказал бастовать.

— Какой такой камитэт? А вы кому нанимались? Камитэту? Чэрт бы вас побрал! Та я вас всех…

Кричит, топает. А матросы — как на своем уперлись: «комитет не приказал», — так и ни с места.

Плюнул Лука Петрович. Пошептался со старшим помощником. Помощника повез на берег старший механик, взялся через кордоны провести.

Через час — через полтора помощник вернулся. Опять матросов собрали, выстроили. Лука Петрович сконфуженно объявил:

— Ну, вот, — говорит, — этот самый ваш… как его… камитэт, да… Камитэт дал есть нам разрешение уходить — вот.

И сунул им бумажку. Матросы стали на работу. Лука Петрович ходил по палубе и ворчал: разве это скоро — пар поднять? Глядишь, часов восемь, а то и все десять. А те-то, которые на «Потемкина», как раз и придут — и пойдет у них баталия. А мы и будем в чужом пиру похмелье хлебать?

Пароходы из порта все уходят и уходят один за другим. Опять подкатил к нам казенный пароходик.

— Ну, что ж вы, Лука Петрович? Торопитесь! Пар-то есть?

— А-а, пар… ч-чэрт бы их… Вы возьмите нас на буксир, ну хоть — до брейкватера…

— Ладно. Давайте конец.

Готово. Плывем. Лука Петрович доволен. Мимо обгорелых набережных, мимо обугленных зданий…

Идем — и все ближе к «Потемкину». Вот уже орудия и белые башни. На капитанском мостике — два матроса. На корме столпилась целая куча белых голландок — должно быть, митинг. Вон-вон, один взгромоздился, говорит, развеваются ленты бескозырки. Мы не отрываемся от бинок-

ля. К Луке Петровичу подошел бойкий матрос с серьгой в ухе.

— Господин капитан!

— Атстань. После… — Лука Петрович тоже с биноклем.

— Лука Петрович, салютовать им прикажете?

У Луки Петровича так руки и повисли. Освирепел, трет затылок.

— Ах, ч-чэрт их…

Действительно — загвоздка: андреевскому флагу он обязан салютовать — своим кормовым. А на «Потемкине» — вон, все еще развевается андреевский с синим крестом флаг… Но с другой стороны — ведь это бунтовщики! А с третьей стороны: не отсалютовать им — возьмут да и пустят тебе в бок шестидюймовый снаряд.

Лука Петрович свирепо накидывается на матроса:

— Да ты что, без головы? Им, таким-сяким, салютовать?! Ступай на свое место!

Матрос с серьгой в ухе ушел. Мы идем — и все ближе «Потемкин», и все шире открываются черные рты орудий.

Лука Петрович пыхтит, как насос, не отрывает от них глаз. Встает, идет на корму. Мы за ним.

У кормового флага. Матрос с серьгой в ухе стоит

спокойный: его дело было спросить, а уж там, что потом будет… Лука Петрович возле него.

Поравнялись с «Потемкиным». Еще секунда… Лука Петрович свирепо кричит матросу:

— Салютуй им, мэрзавцам! С-салютуй, так их растак!

И отсалютовали. А «Потемкин» — даже внимания не обратил, не ответил, не до того было. Уж и ругался же Лука Петрович…

Нас дотащили до брейкватера. Быстроглазый казенный капитан на прощанье опять влез к нам и рассказывал:

— …Понимаете: грозятся стрелять, что тут попишешь? Разрешил им генерал хоронить сегодня матроса их убитого и дал честное слово, что не арестует на похоронах никого — они по всему городу пройдут. «А если, — говорят, — вы арестуете, мы стрелять по городу будем». Каково? А вдруг генерал наш арестует, не утерпит?

Мы кончали обедать, когда в кают-компанию, как бешеный, влетел стюарт Лаврентий. Раскосые его глаза совсем убежали куда-то, — одни белки:

— «Потемкин» пошел! Вот ей-богу, пошел!

Бросили всё — вмиг были на палубе. Медленный, давящий двигался броненосец. В кильватере

шли миноноска и «Веха».

— А знаете, — сказал старший помощник, — ведь теперь как раз они своего хоронят, шесть часов…

Армянское смуглое помощниково лицо не побледнело, а как-то даже пооливковело.

«Потемкин» остановился — бортом к Одессе. Невольно все примерили глазом: да, если он возьмет полевее бульвара, то как раз через наши головы…

На борту броненосца мигнул веселый взблеск, пушистый, круглый дымок. И грохот.

Оливковый старший помощник крестился маленькими, чуть заметными крестиками. Лука Петрович пыхтел.

Еще огонек, еще. Два круглых, твердых удара. Долгая пауза.

На том конце, где столпилась наша команда, шутки и смех.

— Это он поминки по ем правит.

— Добрые-то люди обедом поминают…

— Это кого же ему обедом-то угощать? Энтих, что ли?

Вода тихая, светлая. На всех парах, как раз на линии огня броненосца, летят два парохода. Уйдут, не уйдут?

Стеклянно, чисто плывет по зеркалу рейда музыка. Это — с «Потемкина». Потом громко трубит валторна, одна.

— Аттаку играют…

— Аттаку… Вот теперь, братцы, пойдет!

Багровый весь, Лука Петрович зовет механика, брызжет слюной.

— Что ж у вас пара нэт? Ч-чэрт вас…

Хотя знает отлично, что пара и не может еще быть. Но нужно же что-нибудь делать? Нет сил так ждать…

На броненосце ясно видный — взвился красный боевой флаг. Блеснул огонек, знакомый удар выстрела, и что-то новое: гудит, воет воздух.

Старший помощник пригибается. Чей-то голос сзади:

— Вот это вот всерьез: боевой снаряд.

Секунда — и трах-трах, — в бинокль ясно видны далекие дымки разрыва, где-то среди города.

И опять играет труба. Красный флаг на мачте «Потемкина» медленно падает вниз. Броненосец долго стоит, белый, безмолвный.

Отпустило. Заговорили, заворочались, начали жить.

— Флаг спустил: стало быть, конец…

— Конец… вот сказал-то! Только что начали

— еще такое будет…

Что бы ни было — это страшно кому-нибудь другому, но не им, не нашим матросам. У них на баке появились откуда-то фунтики с вишнями. Бойко сплевывали косточки за борт, спорили, где разорвался снаряд, считали, сколько орудий у потемкинского флота — и сколько у «тех».

Два часа тихого отдыха. Бегут по воде первые тени. На судах отбивают вечерние склянки. Два удара в судовой колокол — и едва замолкает последний, потемкинская миноноска снимается с якоря и неслышно скользит по стеклу воды. Сначала медленно, потом все быстрее.

Миноноска причаливает к одному, к другому, к третьему коммерческому пароходу. Какие-то короткие переговоры и приказания, и миноноска уходит дальше.

— Это он во хлот свой пароходы наши забирает. И нас вот, как пить дать, заберет, вот сичас… ей-богу, братцы!

Это говорит бойкий матрос с серьгой в ухе. Кругом него бросили есть вишни, о чем-то перешептываются, поглядывают искоса на капитана, на помощника.

Старший помощник опять зеленеет. Лука Петрович усиленно трет затылок и сопит.

Матрос с серьгой в ухе продолжает:

— И очень даже просто. Придут сюда те-то, из Севастополя, его брать — а он нас всех, коммерческих, сзади расставит: поди-ка его укуси. Как по ем стрелять-то будут? Никак невозможно. Потому в нас обязательно попадут! Он, Потемкин-то, хи-итрый — он, брат…

Лука Петрович бормочет:

— Бр-родяги, р-разбойники…

А миноноска от соседнего судна уж правит на нас. Лука Петрович мгновенно куда-то исчезает. Вся команда столпилась у борта.

— Эй, на пароходе! Капитан у вас где, на судне? — кричит матрос с капитанского мостика миноноски. Голос спокойный, зычный.

Метнулись искать Луку Петровича, насилу-насилу откопали где-то. Он — в парадном капитанском сюртуке, с золотыми нашивками на рукавах. Старается втянуть свое пузо и стать понезаметней, поменьше, говорить нежным голосом.

— Здравствуйтэ, братцы. Что угодно?

Матрос на мостике миноноски снимает фуражку и говорит звучно, как будто читая:

— С броненосца «Князь Потемкин Таврический» передано: судам стоять на якоре и не

сумлеваться, опасности никакой не будет.

«…Как, а насчет того, чтобы забрать в свой флот? Значит, ничего этого…»

И вдруг лицо у Луки Петровича расцветает, он машет фуражкой и кричит бравым голосом:

— Спасибо вам, братцы! Ур-р-ра-а! — спохватывается и захлопывает рот.

С миноноски машут нам бескозырками, медленно скользят к следующему пароходу.

«Стоять на якоре и не сумлеваться…» И, «не сумлеваясь», спокойно, без слов, долго сидим на палубе.

Совсем темно. Ночь безлунная, ласковая, как черный лохматый зверь.

Всю ночь шарят в черноте холодные, яркие ножи «Потемкина». Всю ночь ходит без огней миноноска — на разведки. Там явно чего-то ждут, готовятся.

…Какие-то сны с пламенем, с криками, выстрелами, какие-то руки хватают и не хотят отпустить.

За плечо теребит беспощадно Лаврентий:

— Вставайте, вставайте! Флот уж близко совсем. Сейчас начнут — вот ей-богу!

Еще не уставшее от солнца утро. Темные полоски судов на горизонте. В бинокль ясно видно: три

броненосца и миноноски. Идут сюда, на «Потемкина», развернутым фронтом.

Лука Петрович бегает по палубе, брызжет слюной, кричит на механика:

— Масло на топки, масло! Жгите — только скорэй! Скорэй — ч-чэрт вас…

Зашевелился и «Потемкин». Громыхает якорями. Какие-то медленные эволюции — и прямо на эскадру. За ним его миноноска.

Механик подымается на палубу и докладывает:

— Лука Петрович, пар уже готов.

— Слава тэ, господи! Ну, полный ход: в Очаков.

Наша старая машина охает, скрипят мачты, на палубе что-то дребезжит, гоним вовсю. Впереди севастопольская эскадра, сзади «Потемкин», а мы — между ними. Успеем проскочить, пока они не откроют огня, — или не успеем?

Эскадра флагами сигналит что-то «Потемкину». «Потемкин» поднимает красный боевой флаг и дает полный ход — за ним миноноска. Ну, сейчас…

— Ходу, ходу… — ч-чэрт! — кричит Лука Петрович в машину.

Но кочегары и так уже выбиваются из сил, котлы грозно гудят, машина охает.

И вдруг видим, что наступающая на «Потемкина» эскадра из трех броненосцев и миноносцев — медленно поворачивается и уходит назад, без единого выстрела.

— Вот так здорово! Вот так фунт… Урра! — орет бойкий матрос с серьгой.

— Ура-а! — подхватывают матросы.

— Урр… — открывает рот Лука Петрович — и, спохватившись, захлопывает. Надев на себя сердитое лицо, он кричит вниз, команде: — Ну, чего, чего? Нэ орать!

Все меньше и прозрачней белый корпус «Потемкина»: он идет обратно в Одессу, мы уходим от Одессы.

Очаков. Желтовато-белые домики на высоком берегу. Вдали батареи. Очаков — на осадном положении, на берег сойти нельзя. Солнце пристальное, ошалелое, поливает нас сверху. Целый день погромыхивают, палят очаковские пушки — упражняются на всякий случай: а вдруг вздумает «Потемкин» сюда нагрянуть? Кто знает?

Ночь еще тише, еще теплей, чем в Одессе. Там, далеко, на горизонте — прыгают холодные лучи прожектора на «Потемкине»: их видно и здесь.

Что там — в Одессе? Гадаем, томимся. Вспоминаем об этих трех днях, прожитых рядом с

«Потемкиным».

— …Впрочем, если бы стреляли — так здесь было бы слышно, — говорит старший помощник.

Здесь он разговорчив и весел: на него хорошо действуют очаковские батареи.

На следующий день к вечеру пришло еще несколько убежавших из Одессы пароходов. Мы снарядили шлюпку, поехали за новостями.

— Опять, — рассказывали, — эскадра приходила. Фронтом наступали, а «Потемкин» так ловко, как-то промеж их влез, что с обоих бортов по ним мог палить. Ушли. А с «Потемкиным» еще новый остался — «Георгий Победоносец».

Еще две ночи на горизонте — далекое белое сияние прожектора с «Потемкина». На третью ночь горизонт был холоден и пуст.

Утром судно привезло из Одессы новую весть: «Потемкин» ушел.

— Куда ушел?

— Неизвестно.

Неизвестно: может быть, и в Очаков. Да, да — отчего же не в Очаков? Кто-то рассказывал: в Одессе-де слышал еще — что «Потемкин» обязательно Очаков разнести хотел.

Батареи на берегу заработали еще усерднее. Вечером выслали на рейд сторожевые суда. Но и

эта ночь — ленивая и тихая, как вчера. Никого.

Утро. Душистый с берега ветерок с запахом степных трав. Веселая стая белых бабочек-парусов: вышли рыбаки в море.

Прыгает, ухает на волнах шлюпка. Двое гребцов в рубахах. Пристают к нам.

— Телеграмма! Телеграмма из Одессы…

У нас столпились, слушают, ждут.

— «Потемкин» ушел Румынию. Одессе спокойно.

— В Румы-ынию! — протянул разочарованно бойкий матрос с серьгой в ухе. Закурил трубочку, сплюнул.